

стили к Чергинцам с обысками: «Стучит сосед... А может, и ещё кто-нибудь...».

Гости помрачнели: «Тогда у вас оставлять ребёнка нельзя, риск очень большой. На рассвете уедем».

Уход гостей Коля проспал. Клялся, клялся сам себе вечером, что обязательно всё увидит собственными глазами, да вот провалился в не по-детски тяжёлый сон. Они с Вовкой Цымбалом, живым и здоровым Вовкой, гордо шли по улице, у каждого по два парабеллума за поясом, к ним подскочил тот самый немец, что застрелил Вовку, умолял дать ему конфетку «бомбом», а они в ответ палили в него с двух рук каждый, только вместо пуль из стволов вылетали конфеты и, расплывшись о лоб фашиста, стекали по его лицу чёрной кровью.

Проснулся Коля от торопливого стука в окно и голоса соседки: «Ленка, гости...».

Через несколько минут в дом ввалилась целая орава фашистов. Ни слова не говоря, стали шарить по всем углам, грубо отодвигая мебель и перетряхивая одеяла.

Командовавший обыском обер-лейтенант схватил Елену Петровну, державшую на руках младшенькую, за воротник:

— Где партизаны? Где маленький медхен, где? Отвечай!

— Пан офицер, какие партизаны, я их сама ужас как боюсь, — запрочитала женщина.

Немец сверлил её лицо каким-то пронзительным, полубезумным взглядом.

В это время с табурета поднялся ещё один офицер, участия в обыске не принимавший. Он помнил к себе Колю и заговорил на чистейшем русском:

— Конфетку хочешь?

Конфетку Коля хотел всегда, даже ночью.

— Хочу...

— Молодец... А ты девочку вчера не обижал?

— Не обижал, она же маленькая.

— Также молодец. А где теперь дядя и тётя, которые девочку приносили?

Мальчик поднял глаза, обдумывая, как бы заполучить от этого ласкового дядьки не одну, а несколько конфет, но увидел глаза матери. Её взгляд выражал всё: и любовь, и ужас, и отчаяние, и надежду.

— Так они домой потом пошли. Вон там их крыльцо.

Коля вспомнил. Недалеко действительно жила такая семья, где была маленькая девочка, а проверить, приходили ли эти люди к ним накануне вечером, немцы не могли — соседи тогда же уехали в деревню.

— Так это соседи к вам вчера приходили? — разочарованно протянул «добрый дядечка».

— Ну да, соседи...

Обер-лейтенант, презрительно наблюдавший за попытками своего офицера разговорить мальчика, снова схватил Елену Петровну за воротник:

— Партизанен! Киндер! Отвечай!

Женщина молчала, только ещё сильнее прижала к себе крохотную дочь, будто кормила её грудью.

— Киндер!

Немец выхватил из кобуры парабеллум, испытующе посмотрел на женщину. Жонглируя, подобрал пистолет вверх, поймал его за ствол, коротким движением ударил ребёнка рукояткой по виску. Тельце девочки моментально обмякло, из ранки заструилась чёрная кровь, потёкшая по материнской груди.

— А-аааа! — диким, нечеловеческим голосом закричала женщина. У неё подкосились ноги, и она, едва успев положить холодеющее тельце на кровать, рухнула на пол.

Обер-лейтенант махнул рукой. Громыкая обувь, фашисты потянулись к выходу. Возле дверей «добрый» немец оглянулся, пронзил взглядом Колю, швырнул ему карамельку.

Коля интуитивно поймал конфету, но когда немцы ушли, долго и с остревением топтал её ногами, дав себя слезами и повторая: «Гады! Гады! Подавитесь!»

* * *

Весна сорок третьего выдалась затяжной и холодной. Стильный ветер трепал де-

ревья с едва проклюнувшимися почками, которые всё никак не могли выплеснуть наружу зелёный взрыв листьев.

В то утро Коля, как обычно, собирался отправиться на базар за добычей, Зина, держась за покореженный бок, еле передвигалась по комнате, Васька и Валерик, не любившие вставать рано, тихо посапывали.

В окно мальчик увидел переходивших от крыльца к крыльцу и что-то громко кричавших жителям полицейев. Обернулся, чтобы предупредить об опасности, но Зина, тоже увидевшая врагов, уже помогала новоявленной «сестрице» залезть в плиту. Минут через пять свора добралась и до их дома.

— Всем выходить и строиться! Да поживее! — для убедительности полицей лязнул затвором.

Толпу согнали большую: женщины, старики, дети. Их оцепили неподалёку от комаровской площади и велели смотреть. В центре образовавшейся площадки зловец высились несколько свежекочанных виселиц с верёвочными петлями на попечинах.

С подбывающего грузовика немцы столкнули каких-то людей. Человек двенадцать-пятнадцать. Почти никто из них не мог идти самостоятельно, а здоровых мужчин Коля среди узников не заметил. Всё больше старики да женщины, было и несколько детей. На шее у каждого болталась табличка с грубо намалёванной надписью «Я — партизан» или «Я помогал партизанам». Особенно Колю поразила девчушка лет трёх с такой же табличкой, болтавшей у неё на уровне колен. Явно не сознавая происхождения, она с любопытством осматривалась вокруг. На какой-то миг их взгляды встретились, и Коля показалось, что девочка хочет сделать шагок в его сторону. Но грубый толчок полицей заставил малышку следовать дальше.

Рядом с девочкой шла её мать, измождённая молодая женщина лет двадцати пяти. Невидящими полубезумными глазами она озирая толпу. Люди, боясь этого взгляда, невольно съеживались, опускали головы.

Улучив момент, женщина рванулась вперёд, рухнула на колени перед офицером:

— Умоляю. Повесьте девочку раньше меня, чтобы она не видела моей смерти... Умоляю...

Немец, не дослушав, брезгливо отвернулся. Всем обречённым, в том числе и девочке, петли на шею набросили одновременно. Переводчик громко пролаял какой-то приказ немецкого командования, после чего из-под ног приговорённых вышибли скамейки.

Толпа охнула, зашевелилась, забурилась... Многие, в том числе и Коля, хотели бежать, но их прикладами загоняли обратно:

— Цурюк! Цурюк! Смотреть!

Коля, которому мама всё это время пыталась прикрыть ладонью глаза, едва дождался, пока оцепление сняли. Не выходя с дороги, шлёбая по мокрой глине босыми ногами, он помчался домой, забился в угол. Его трясло.

Немного придя в себя, он с трудом поднялся и на ватных ногах подошёл к окну. Ему опять стало дурно — край площадки, где только что совершалась казнь, всё же попал в поле зрения. На столбе от ветра покачивалось чьё-то мёртвое тело.

* * *

В сентябре сорок четвёртого Коля пошёл учиться. Мать по этому поводу сшила холщовую сумку для тетрадей и учебников, а в отрестрированной пленными немцами средней школе № 13, куда его записали, бесплатно выдали чернильницу. До Логойского тракта, где стояло двухэтажное здание школы, Коля, сокращая расстояние, бежал дворами, так что к началу уроков его босые ноги выглядели ещё относительно чистыми. Но это не спасало.

— Ты почему босиком в школу являешься? — с порога орала завуч. — Марш обуваться!

Завуча, как и многих учителей, Коля ненавидел. Неужели им непонятно, что у таких, как он, детей войны и Комаровского рынка просто не во что обуться? Да, ребята из более зажиточных семей, особенно тех, где есть отцы, ходили одетыми немного поприятней. Но ему-то разве приятно бегать в школу босиком по декабрьской наледи?

Предметы преподавателей, которые разговорами об одежде задевали Колю, но самолюбие, он не учил принципиально, на ряды двоек, гуськом выстраивавшихся в классном журнале, даже внимания не обращал.

Одна Татьяна Тимофеевна, преподававшая русский язык, понимала его душевное состояние.

— Эх, Чергинец, Чергинец, — листая Колю тетрадку, говорила она, стараясь, чтобы разговор слышали как можно меньше одноклассников, — правила-то учить надо. Вон какие у тебя интересные мысли! С такими, может, когда-нибудь писателем станешь... Только как же ты свои книги напишешь, если столько ошибок делаешь?

Но у Татьяны Тимофеевны уроки в их классе бывали не каждый день. Остальные же учителя, едва завидев его пропитанные комаровской грязью ступни, моментально делали возмущённые лица. Коля, нарочито выставив босые ноги в проход между партами, даже ждал, когда его выставят из класса. Тогда он шёл «шлеить», как выражалась комаровская ребятня, а попросту говоря, прогуливать. Выскакивал из школы и опростетью нёсся на трамвайную остановку.

Днём в вагонах было куда меньше людей, чем вечером, так что вполне можно было стать на карачки и ползать по затоптанному рубчатому полу, не опасаясь, что тебе отдавят руки и ноги. Коля, как и многие другие комаровские пацаны, «шлеил» именно в трамваях, где пассажиры, оплачивая проезд, частенько роняли мелочь. На грязном полу монетки легко терялись, становясь добычей таких, как Коля. За день, ползая и внимательно опухивая пальцами каждый паз, Коля зарабатывал на полбуханки свежего горячего хлеба, а иногда и на целую, которую с гордостью приносил домой.

— Кормилец ты наш! — ласково трепала его за вихор мама, пряча неожиданно наворачнувшиеся слёзы.

Колю же раздражало от гордости, и назавтра в трамвае он «шлеил» ещё усерднее.

Одной из причин, по которой Коля всё же появлялся в школе каждый день, пусть и ненадолго, была перспектива получить свежую булочку. Невесте какое подкрепление с недавних пор стали выдавать ребятняшкам из многодетных семей. Булочку он, подальше от соблазна, прятал в сумку: помнил, что у него есть ещё и младший брат. Валерик встречал его всегда голодными глазами, но сам булки не просил — знал: начнёшь кланяться, не получишь ничего, Коля любил одаривать, а не подавать.

В тот день «шлеилось» Колю не очень. Ватага ребят в скрипящем и подрагивавшем на стыках трамвайном вагоне собралась изрядная, за каждой упавшей монеткой одновременно бросалось несколько человек. До вечера не удалось насобирать даже на полбуханки хлеба. Несколько дожавшихся монет он запрятал поглубже, поклявшись себе завтра добавить к ним столько, чтобы хватило минимум на две буханки. Булочка, даже спрятанная в сумку, щекотала голодные ноздри неповторимым ароматом, заставляла слглатывать слюну, манила воображение.

«Интересно, как она выглядит в темноте? — подумал Коля. Рука сама потянулась к заветному свертку. — Ух ты, как светится на фоне неба! Прямо звезда! — Коля легонко ногтем указательного пальца дотронулся до аппетитной корочки, поскрёб её, сунул палец в рот. Аромат печёного заставил восторженно дышать. — Если отщипнуть кусочек, будет совсем незаметно, — подумал он, а пальцы уже несли к губам несколько крошек волшебной мягкости. — Ещё один, малюсенький -з малюсенький, Валерка не обидится... И вот этот, где краешек корочки заломился и встал торчком...»

Коля спохватился, когда тряпица была пуста. Горячий стыд волной подкапывал к горлу. Он долго бродил неподалёку от дома, чтобы воротиться, когда брат уже будет спать. А уж завтра он ему булочку принесет обязательно.

Но назавтра вышло ещё обиднее. Получив заветное лакомство, Коля, как всегда, спрятал булочку в сумку, только на этот раз — глубже, под учебники, чтобы не дразнила воображение. Решив ещё больше сократить обратный путь, свернул в проулок, ведущий к рынку, а там и до дома недалеко. В этот час на базаре уже не было продавцов и покупателей, только ватага знакомых ребят поблёскивала огоньками самокруток из подобранных окурков.

— Привет, Коля, на вот, курни, — предложил угловатый Лёшка, протягивая обслонявленный окурков.

— Нееет, — отмахнулся Коля, — не балуюсь.

— Ну и дурак, — не отстаивал угловатый, — когда накуришься, жрать неохота. — Он ещё раз протянул окурков.

Коля измучившись задумался. Перспектива избавиться от чувства голода показалась ему соблазнительной.

— Ты что, разве от курева аппетит пропадает?

— Да ты попробуй!

Он неуверенным движением взял окурков, затянулся.

— Молодец, — подбодрил Лёшка, — в первый раз, а не закашлялся.

Польщённый похвалой, Коля затянулся поглубже, потом ещё и ещё. Перед глазами всё поплыло, закружилось, он едва успел шагнуть в сторону и сполз на траву.

Очнулся Коля, когда вокруг уже стемнело. В висках ломило, ноги казались ватными. Проулок был пуст, ни души. Рядышком на траве валялась сумка, книжки оказались на месте. Не хватало только булочек.

Коля дрожащими руками захихнул учебники обратно. Погасшая самокрутка валялась рядом. Он с ненавистью втоптал её в грязь: «Никогда в жизни... Никогда... Ни единой затяжки...».

* * *

Туманным мартовским днём сорок пятого года, когда Елена Петровна только-только собиралась снять ухватом с плиты тяжёленный чугун с кипятком, дверь в дом отворилась. Вначале Коля увидел лишь клубы похожего на пар холодного воздуха, ворвавшегося в дверной проём. Потом из этого пара вынырнули два костыля, следом — шинель и только потом — одноногий мужик в солдатской ушанке.

Мать охнула, уронила ухват, бросилась к мужику:

— Ваня!

Из своей комнаты выскочила соседка, оттолкнула Елену Петровну:

— Своему на шею вешайся! А это мой, роднёный, воротился...

— Обознался, соседка, — понимающе протянул мужик, — видать, ждёшь очень. — Он расцеловал жену и грузно, опираясь на костыли, пошёл за ней в комнату.

Елена Петровна ткнула лицом в печь, сползла на пол. Впервые за всю войну её была истерика.

Месяца через два, когда уже отгремел салют Победы, та же картина повторилась почти точь-в-точь.

— Мама, — только и успел позвать Коля, когда из дверного проёма в дом шагнули костыли. Только на сей раз вошедший был не в шинели, а со скаткой через плечо. Одной ногой не было видно вовсе, а вторую, перебитую в бою, он ступал, лишь повиснув всем весом на костылях.

— Батя, батя пришёл, — откликнула друг друга и спеша прижаться к отцовской скатке, наперебой загалдели дети.

Отец расцеловал каждого:

— Погодите чуток, дайте я мать обниму. А маленькую нашу почему не видать?

— Не уберегла я её, Ваня, не уберегла, — запрочитала мать.

Иван Платонович тяжело опустился на колченок табурет, машинально отодвинул лежавшую на столе ложку и долго молчал, уставившись в одну точку.